

Герберт  
**УЭЛЛС**



**РОССИЯ  
ВО МГЛЕ**

ВЕЛИКИЙ ФАНТАСТ  
И КРЕМЛЁВСКИЙ  
МЕЧТАТЕЛЬ

**Герберт Джордж Уэллс**  
**Евгений Бондаренко**  
**Россия во мгле**  
Серия «Приключения иностранца в России»

*Текст предоставлен издательством*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=126683](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126683)

*Герберт Уэллс. Россия во мгле: Великий фантаст и кремлевский мечтатель: Правда; Москва;*  
*2015*

*ISBN 978-5-4438-1031-7*

**Аннотация**

В 1920 году английский писатель Герберт Уэллс приехал в СССР. Он был в числе первых западных писателей, осмелившихся посетить страну Советов. Путевые очерки автору заказала газета «The Sunday Express». Писатель уже был однажды в России, в 1914 году, поэтому с радостью согласился на предложение. Ему было интересно увидеть то, как изменилась страна за эти годы.

Осенью 1920 года Герберт Уэллс после пребывания в Советской России и по возвращении в Англию выпустил книгу «Россия во мгле», в которой рассказал о своих впечатлениях. Наверное, еще ни одна книга до этого не вызывала столько шума на Западе. Читайте и удивляйтесь!

## Содержание

Г. Д. Уэллс	5
Предисловие к первому русскому собранию сочинений[1]	9
Россия во мгле[2]	13
Гибнувший Петроград	13
Потоп и спасательные станции	19
Квинтэссенция большевизма	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# **Герберт Уэллс**

## **Россия во мгле: Великий фантаст и кремлевский мечтатель**

© Сост. Е. Бута (переводчики: К. Чуковский, И. Виккер, В.В. Пастоева, Е. Бондаренко, В. Горбатько), 2015

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

\* \* \*

## Г. Д. Уэллс

*(Вступительная статья к роману Г. Уэллса «Машина времени», 1920 г.)*

Все наше удивительное время можно целиком заключить в одно слово: аэроплан. Все способы передвижения на земле – использованы человеком до конца: и вот человечество – отделилось от земли. Отделилось от всего старого, застоявшегося, привычного, окаменелого в течение веков – отделилось – и с замиранием сердца поднялось в воздух. Все человечество – на аэроплане над землей. С головокружительной высоты человечеству видны сразу необъятные дали, одним взглядом охватываются целые города, целые страны... С головокружительной высоты отдельные люди кажутся букашками; здания, которые с земли, снизу, представлялись огромными, – отсюда, сверху, виднеются, как маленькие коробочки. С несущегося аэроплана – все в новом, необычном виде: как будто самые глаза стали новыми. Все быстрее и все дальше от земли несется аэроплан человечества – кто знает куда? Может быть, аэроплан пристанет в новых, неведомых странах; может быть, аэроплан опустится на ту же самую нашу старую, прокопченную землю; может быть, аэроплан, управляемый сумасшедшим авиатором, рухнет вниз, оземь – и вдребезги. Но пока – мы мчимся: скрываются из глаз страны, королевства, короли, законы, веры...

Отличительная черта английского писателя Герберта Уэллса – тот же самый фантастический полет над землей, та же самая аэропланность, которая характеризует наши дни, – или, может быть, это не дни, а века? Недаром же Уэллс так любит описывать полеты на аэропланах, сражения в воздухе, путешествие на несущейся «машине времени».

Человек слишком быстро привыкает ко всему: мы уже привыкли к аэропланам. Но те, кто помнят первые неуклюжие подъемы аэропланов в воздухе, – помнят и то впечатление настоящего чуда, которое являлось у зрителей, помнят восторженный рев и бег толпы. Аэроплан – конечно, чудо, но чудо, питающееся бензином, – чудо – с научно, математически точно рассчитанными частями.

Эту же самую особенность, свойственную чуду аэроплана, – мы находим во всех чудесах, во всех сказочных фантазиях Уэллса. Он пишет иной раз о самых как будто невероятных, нелепых вещах: о путешествии на Луну (роман «Первые люди на Луне»), о войне с обитателями планеты Марс (роман «Борьба миров»), о человеческой жизни через 800 000 лет (роман «Машина времени»), о человеке-невидимке (роман «Невидимка»), о великанах (роман «Пища богов»). Но в этих как будто «сказках» – всякие чудеса творятся не так, как в русских сказках – «по щучьему велению»: все чудеса здесь питаются бензином, все чудеса – научно обоснованы, все чудеса – построены на строго логических основаниях. Оттого фантастические романы Уэллса так увлекательны. Уэллс вводит читателя в атмосферу чуда, сказки – очень постепенно, осторожно, с одной логической ступеньки на другую. Переходы со ступеньки на ступеньку – совсем незаметны; читатель, ничего не подозревая, доверчиво переступает, поднимается все выше... И вдруг – оглянется вниз, ахнет – а уж поздно: уж поверил в то, что по заглавию казалось совершенно невозможной, нелепой вещью: в путешествии на Луну, в великанов, в невидимку...

Ну вот, например, в «Невидимке»: такая с виду нелепая и сказочная вещь, как человек-невидимка. Но Уэллс строит эту сказку на основе действительно существующего, научного закона о способности световых лучей проходить через различные вещества, о способности предметов поглощать или отражать световые лучи. Кусок стекла – прозрачен, кусок стекла в воде – совершенно невидим. Но если истолочь стекло в порошок – порошок будет белого цвета, порошок будет видим очень хорошо. Стало быть – одно и то же вещество может быть, в зависимости от состояния его поверхности, и видимым, и невидимым. Правда, человек – живое вещество. Но что ж из этого? В морях живут морские звезды и некоторые

морские личинки – совершенно прозрачные. Стало быть, и человек... И читателю думается: «А что ж, ведь, пожалуй, и в самом деле...»

И так у Уэллса – везде: в романе «Остров доктора Моро» – ученый хирург искусными операциями превращает обезьян в людей; в основу романа «Первые люди на Луне» – положено изобретение «кэйворита», вещества, уничтожающего силу земного притяжения; сказка о гигантских людях, животных, растениях (роман «Пища богов») – построена на научном открытии особенно действующей на организм пищи. Все сказки Уэллса – это сказки ученого с необузданной фантазией; все фантазии Уэллса – фантазии химические, математические, механические; все фантазии Уэллса – может быть, вовсе не фантазии.

Как, правда, в наше время – время самых невероятных научных чудес – сказать: то или это невозможно? Ведь можем же мы теперь с помощью рентгеновских лучей видеть сквозь непрозрачные тела: далеко ли это от человека-невидимки? Можем же мы летать по воздуху: далеко ли это от ковра-самолета и от уэллсовского «кэйворита»? Можем же мы по радиотелеграфу переговариваться через тысячи верст? Разве двадцать пять лет назад все это не казалось бы нелепостью и сказкой еще большей, чем фантазии Уэллса? И может быть, еще через двадцать пять лет, через пятьдесят лет – мы так же спокойно будем смотреть на людей-невидимок и на машину, отправляющуюся на Луну, как спокойно смотрим теперь на витающий чуть заметной точкой в небе аэроплан...

С огромной, аэропланной высоты, на которую взлетает мысль Уэллса, – видно далеко не только назад, но и вперед. Не оттого ли в фантазиях Уэллса так много предвидения, так много положительно пророческого? Еще в 1906 году, когда был написан роман «В дни кометы», Уэллс предвидел возникновение всемирной войны и вслед за ней – грандиозный социальный переворот, положивший конец войнам на земле. В 1908 году, когда об аэропланах еще только мечтали, Уэллс уже написал роман «Война в воздухе»: нам теперь знакомые картины воздушных боев, немецких налетов на вражеские города, картины потрясающе быстрого падения старой цивилизации. Вот послушайте несколько отрывков из этого романа:

«Европейский мир не испытал медленного упадка, как древние цивилизации, которые постепенно угасали и распадались; европейская цивилизация была снесена в один миг. Она совершенно распалась в промежутки пяти лет...

От великих наций и империй остались только названия: повсюду были развалины, валялись мертвые, непогребенные тела, а те, кто пережил все эти ужасы, – были охвачены смертельной апатией. В одном месте – организовывались комитеты безопасности, в другом – бродили грабители и партизанские шайки, господствовавшие на голодных территориях...

...Деньги – исчезли чрезвычайно быстро: их запрятали в погребах, ямах, стенах домов, во всевозможных тайниках. Остались одни только обесцененные бумажки. Кредитная система, эта живая крепость научной цивилизации, зашаталась и рухнула на головы тех миллионов людей, которых она связывала раньше посредством экономических отношений».

Но вот, наконец, в умах людей – совершился переворот (роман «В дни кометы»), который уже отчасти происходит теперь на наших глазах, – и, может быть, произойдет еще в большем масштабе. В одно прекрасное время, вместо того чтобы начать бой – солдаты говорят: «Император... Да что за нелепость? Ведь мы – люди, культурные люди. Пусть-ка поищут кого-нибудь другого для таких убийств». И ружья перестали стрелять...

Так может писать или человек, переживший наши ужасные, удивительные дни, или пророк...

Уже приведенных отрывков достаточно, чтобы понять, как Уэллс относится к старой, построенной на броненосцах и пушках, европейской цивилизации. Авиатору самый страшный враг – земля: и для Уэллса нет врага ненавистней старой, обросшей густым мхом пред-рассудков земли; нет врага ненавистней старой, такой с виду приличной и благополучной,

европейской цивилизации. Тут глаза Уэллса смотрят рентгеновскими лучами – и сквозь приличную и благополучную внешность старого общественного строя – видят его уродливый, искривленный, источенный неизлечимой болезнью скелет. Старый мир, с его военщиной, неравенством, ожесточенной борьбой классов, национальной и расовой враждой – болен неизлечимо и обречен на гибель, если не произойдет какого-то глубочайшего переворота. Таково глубокое убеждение Уэллса – и красным цветом этого убеждения окрашено почти все написанное Уэллсом.

Вот – путешествие на Луну: как будто уж чего дальше от земли и ото всего, что творится на земле. Но и там фантазия Уэллса находит все те же наши, земные, общественные болезни. То же самое разделение на классы, господствующие и подчиненные: но рабочие уже превратились здесь в каких-то горбатых пауков; на безработное время их просто усыпляют и складывают в лунных пещерах, как дрова, пока опять не понадобятся. В романе «Спящий пробуждается» – человек проспал двести лет, проснулся – и что же? Непомерно разросшиеся могущество и власть капитала; непомерно усилившаяся эксплуатация рабочих; с оружием в руках – рабочие восстают против капитала... В романе «Машина времени» – рабочие загнаны в подземные пещеры, и классовая ненависть к обитателям верхнего, праздного мира вылилась в звериные, людоедские формы. Почти во всех своих фантастических романах Уэллс берет за исходную точку старый европейский общественный строй и только подчеркивает, только сгущает краски: в уродливых, часто отталкивающих образах жестокого зеркала уэллсовской фантазии – мы узнаем себя, наше время, нашу старую европейскую цивилизацию.

Иногда Уэллсу случается причалить свой аэроплан на землю – и от фантастики обратиться к быту. Тогда Уэллс чаще всего бродит в бедных кварталах города, среди мелких приказчиков, работниц, рабочих. Собирает голод, нужду, обиды – и переносит их на страницы своих романов («Кипс», «Тонно-Бэнгэ», «Колесо фортуны»). Заглянет Уэллс в богатый дом – непременно вытащит кого-нибудь из его беспечных обитателей на улицу, поведет в подвалы, на фабрики и покажет такое, что от беспечности не останется и следа («Жена сэра Айсэка Хармана»). И везде, всюду, всякой своей строкой Уэллс кричит: «Оглянитесь! Опомнитесь! Как мы живем? Так ли нужно?».

Читатель, вероятно, уже услышал то слово, которого мы еще не сказали: Уэллс – социалист. Не нужно этого понимать в смысле какой-нибудь партийной принадлежности Уэллса: наклеить художнику партийный ярлык так же невозможно, как выучить птицу петь по нотам, а если бы это и удалось – то выйдет не соловей, а скворец – не больше. Сам о себе Уэллс говорит: «Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества, но социалистом не по Марксу...» «Для меня социализм – не есть политическая стратегия или борьба классов: я вижу в нем план переустройства человеческой жизни, с целью замены беспорядка – порядком...»

Во всяком случае, Уэллс – социалист, социалист убежденный. И если хоть бегло ознакомиться с его биографией – станет ясно, что иначе и быть не может: Уэллс сам прошел тяжелую трудовую жизнь – а это не забывается.

С тринадцати лет Уэллс служил мальчиком в магазине, потом – приказчиком. Все свободное от работы время – сидел над книгами, учился, учился. Бросил магазин, стал кое-как перебиваться уроками и одновременно изучал естественные науки в Лондонском университете. Кончил университет – был учителем: но умеющему летать – разве уживаться в клетке четырех школьных стен? Уэллс начал писать. Первая же его большая вещь – «Машина времени» – сделала ему имя. Теперь Уэллсу 53 года. Известность его все растет. Уэллса знают и любят уже не только в Англии. Вот и мы здесь, в далекой России, читаем Уэллса и находим в нем свое, близкое.

Это близкое, огненное дыхание революции, опаляющее теперь Россию, – может быть, чтобы возродить ее, может быть, чтобы сжечь. Это близкое – стремительный лет гигантского аэроплана, на котором мы несемся от старой земли в неведомое. Будем надеяться, что аэроплан наш пристанет в стране, где ненависть человека к человеку, войны и казни – будут так же непонятны и отвратительны, как нам непонятно и отвратительно людоедство, где люди будут равны и свободны по-настоящему, где люди поймут, что они – братья, что они – люди...

*Е. И. Замятин, 1919*

## Предисловие к первому русскому собранию сочинений<sup>1</sup>

Мне сказали: «Напишите предисловие к русскому изданию ваших сочинений».

Я удивился и обрадовался. Признаться, мне и в голову не приходило, что меня читают по-русски. И теперь, когда я приветствую своих неожиданных читателей, – не правда ли, мне простительна некоторая гордость? Английский автор, выступающий перед читателями таких мастеров, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Максим Горький, имеет право слегка возгордиться.

«Расскажите нам о себе», – попросили меня. Но чуть я принимаюсь за это дело и пытаюсь рассказать русскому читателю, что я за человек, мне с особенной силой приходит в голову, какая страшная разница между моим народом и вашим; разница в общественном отношении и в политическом. Вряд ли можно найти хоть одну общую черточку, хоть один клочок общей почвы, на которой мы могли бы сговориться. Нет общего мерила, которым мы могли бы мерить друг друга.

Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и у друга моего Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли.

А вы, в России, как представляете себе Англию? Должно быть, вам мерещатся дымные фабричные трубы; города, кишачие рабочим людом; спутанные линии рельсов, жужжание и грохот машин и мрачный промышленный дух, обуявший собою всех и вся. Если так, это не моя Англия. Это север и средняя полоса. Моя же Англия лежит к югу от Темзы. Там нет ни железа, ни угля; там узкие, прекрасно возделанные поля, обсаженные дубами и вязами, там густые заросли хмеля, как будто аллеи виноградников; там каменные и кирпичные дома; опрятные деревушки, но мужики в этих деревушках не хозяева, а наемники; там красивые старинные церкви и священники – часто богатые люди; там обширные парки, и за ними ухаживают, как за садами; там прекрасные старинные усадьбы зажиточных людей. Там я родился и провел всю свою жизнь, – только на несколько лет отлучался в Лондон и немного путешествовал. Там у меня тоже есть маленький домик с красной крышей, площадкой для тенниса и небольшим цветником. Этот домик я выстроил сам. Он стоит на берегу, между двумя морскими курортами – Фолкстоном и Сэндгэтом, расположенными почти рядом, и, когда летними вечерами я прогуливаюсь на сон грядущий по маленькой террасе перед окнами моего кабинета, я вижу вращающиеся огни маяков на дружественных берегах Франции, в девятнадцати милях от меня.

Мне сейчас сорок два года, и я родился в том странном неопределенном сословии, которое у нас в Англии называется средним классом. Я ни чуточки не аристократ; дальше деда и бабки не помню никаких своих предков, да и о тех я знаю весьма немного, так как они умерли до моего рождения. У моего деда по матери был постоянный двор. Кроме того, он держал почтовых лошадей, куда не прошла железная дорога, а мой дед по отцу был старший садовник у лорда де Лисли в Кенте. Он несколько раз менял свою профессию, и ему то везло, то нет. Отец мой долгое время держал под Лондоном мелочную лавчонку и

---

<sup>1</sup> Перевод К. Чуковского.

пополнял свой бюджет игрою в крикет. В эту игру люди играют для развлечения, но она бывает также и зрелищем, а за зрелища платят деньги.

Это породило игроков-профессионалов вроде моего отца. Со своей торговлей он прогорел, и моя мать, которая до замужества была горничной, поступила экономкой в богатую усадьбу.

Мне тогда было двенадцать лет. Меня тоже прочили в лавочники. Чуть мне пошел тринадцатый год, я был взят из школы и поступил мальчиком в аптекарский магазин, но не имел там удачи и должен был перейти в мануфактурную лавку. Я пробыл там около года, но потом натолкнулся на мысль, что у меня есть возможность добиться лучшего положения посредством высшего образования, доступ к которому так легок у нас в Англии и с каждым годом становится все легче. Таким образом, я принялся изо всех сил заниматься, чтобы получить нужные мне права, которые дадут мне возможность поступить в университет. Спустя некоторое время я и поступил в Новый Лондонский университет, который так разросся и прославился теперь. Там я получил ученую степень и разные знаки отличия, весьма, впрочем, незначительные. Моим главным предметом была сравнительная анатомия, и занимался я под руководством профессора Хаксли, о котором русские читатели, без сомнения, знают. Первое русское имя, которое я научился уважать, было имя биолога А. О. Ковалевского.

Добившись диплома, я пошел в учителя и стал преподавать биологию. Но через два-три года бросил преподавание и занялся журнальной работой: в Англии это гораздо прибыльнее, да и влечение к этому делу всегда у меня было большое. Сначала я писал критические заметки, статьи и т. д., но потом пристрастился к фантастическим рассказам, используя в них богатые увлекательными возможностями идеи современной науки. На такие произведения в Англии и в Америке значительный спрос, и моя первая книга, «Машина времени», вышедшая в 1895 году, привлекла изрядное внимание и вместе с двумя последующими книгами, «Война миров» и «Человек-невидимка», обеспечила мне популярность – как раз такую, что я без особого риска мог целиком отдаться литературному труду.

Писательство – одна из нынешних форм авантюризма. Искатели приключений прошлых веков ныне сделались бы писателями. Пускай хоть немного посчастливится твоей книге – ну хоть так, как посчастливилось моим, – и в Англии ты тотчас же превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Все открыто и доступно тебе. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до тех пор, и вдруг начинаешь сходитья и общаться с огромным количеством людей.

Ты, что называется, видишь свет. Философы и ученые, военные и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди – к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумаешь. Вдруг оказывается, что тебе уже незачем читать обо всем в газетах и в книгах, ты все начинаешь узнавать из первых рук, подходишь к самым истокам человеческих дел. Не забудьте, что Лондон не только столица королевства; он также центр мировой империи и огромных мировых начинаний.

Быть художником – не значит ли это искать выражения для окружающих нас вещей? Жизнь всегда была мне страшно любопытна, увлекала меня безумно, наполняла меня образами и идеями, которые, я чувствовал, нужно было ей возвращать. Я любил жизнь и теперь люблю ее все больше и больше. То время, когда я был приказчиком или сидел в лакейской, тяжелая борьба моей ранней юности – все это живо стоит у меня в памяти и по-своему освещает мне мой дальнейший путь. Теперь у меня есть друзья и среди пэров, и среди нищих, и ко всем я простираю свое жадное любопытство и свои симпатии и ими, как нитями паутины, связываю верхи и низы человечества. Эту широту моего общественного положения я почитаю едва ли не самой счастливой моей особенностью, а другая счастливая моя особенность та, что я человек непритязательный, скромный, никому ничего не навязываю, пресле-

дую только литературные цели, не мечтаю о том, чтобы играть роль в свете, и ни на что не променяю я своей настоящей работы: наблюдать и писать, о чем хочу.

Почему я заговорил об этом? Потому что моя неустойчивость и мои переходы от одного общественного положения к другому могут объяснить тот утопический элемент, который был присущ моим первым произведениям.

Неустойчивые, неоседлые люди никогда не могут принять мир таким, каков он есть; но теперь, когда я перестал быть бродягой, я перешел уже за предел тех научно-фантастических идей, которые прежде были причиной моего успеха.

Правда, всего только месяц назад я держал корректуру новой фантастической повести «Война в воздухе» – о летательных машинах и о мировой войне, но такого рода вещи, повторяю, перестали поглощать все мое внимание. Чем дальше, тем фантастичнее и ярче кажется мне реальная действительность.

Первая моя вещь в реалистическом роде появилась в 1900 году под названием «Любовь и мистер Люишем», вторая вещь – «Киппс», посвященная изучению приказчицей души, вышла в 1905 году. В промежутке между ними мною был создан ублюдок, помесь фантастики и реализма, – «Морская дева», где любовь, как мучительная страсть, символизирована в образе сирены. Теперь я заканчиваю сразу два романа, и оба, надеюсь, появятся сразу в будущем, 1909 году. Один называется «Тоно-Бенге» и будет объемистее обычных современных романов. В нем содержится попытка проследить карьеру одного продавца патентованных медицинских средств, основавшего для их сбыта особое промышленное товарищество, и таким образом выставить напоказ всю нелепую, построенную на рекламе, торгашескую цивилизацию, средоточием которой является все тот же Лондон. Не в пример моим прошлым романам, которые, в сущности говоря, были всегда как бы монографиями, посвященными одному персонажу, этот новый роман будет заключать в себе разнообразные типы. Другой роман посвящен современному положению женщины; в нем изображается развитие страсти в душе английской девушки новейшего типа – лондонской студентки [речь идет о романе «Анна-Вероника»].

Начиная с 1900 года я написал еще третью серию книг, и серия эта теперь, полагаю, закончена. Это мои социологические этюды; они были нужны мне для моих романов. Я стал писать их почти случайно. Прежде чем описывать жизнь тех или других личностей, мне понадобилось самому для себя, так сказать, для своего собственного назидания изучить те условия общественной жизни, в которых мы плаваем, как рыба в воде. Я написал книгу под названием «Предвидения», которая, принимая мир как некую развивающуюся систему, представляет собою попытку предсказать то, что может случиться через сорок – пятьдесят лет. Еще я не окончил этой книги, а уже почувствовал, что мне необходимо писать другую и представить прогресс мира как воспитательный процесс; это я выполнил в книге «Создание человечества». Эта книга привела меня к более общим вопросам, которые я пытался решить в «Современной утопии». Но в то самое время, когда мною писались эти книги, из них, как две боковые ветви, выросли два фантастических романа: «Пища богов», где открытая учеными пища увеличивает все предметы до гигантских размеров и таким образом изменяет масштаб всех человеческих дел, и другой роман – «В дни кометы», где представлены все последствия внезапного роста нравственных чувств в человечестве.

Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества; но социалистом не по Марксу, а скорее по Родбертусу, – и вот однажды меня соблазнила мысль: взять все положения социализма, развить их по-своему до последней степени и посмотреть, что из всего этого выйдет; так создались еще две мои книги – «Новые миры вместо старых» и «Первое и последнее».

Русскому читателю нужно знать, что наш английский социализм во всех отношениях отличается от американского и от континентального социализма. Мы, англичане, парадоксальный народ – одновременно и прогрессивный, и страшно консервативный, охраняющий

старые традиции; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов.

Со времен Норманнского завоевания, 850 лет тому назад, у нас менялись династии и церковные иерархии, но чтобы мы что-нибудь «свергли», «опрокинули», «уничтожили», чтобы мы «начали все сызнова» – как это бывало почти с каждой европейской нацией, – никогда. Революционная социал-демократия континента не встречает отклика в широких кругах английского народа. Тем не менее мы все гуще и плотнее насыщаемся социализмом. Наш индивидуализм уступает место идеям общественной организации. Мы парламентарны по природе и по своему социальному развитию, в котором принимают участие все слои и все классы народа. Консерваторы, либералы и отъявленные социалисты ходят друг к другу в гости и за десертом обсуждают те уступки, которые они могут сделать один другому, – все в равной степени не веря в какие-нибудь твердые, непоколебимые формулы и все же молчаливо допуская страшную сложность и запутанность государственных и общественных вопросов. Это чувство, скорее национальное, чем принадлежащее лично мне, я надеюсь, будет замечено в моих социальных этюдах каждым русским читателем.

Эти этюды писались с 1901 года. Они послужили, так сказать, руководством для моих дальнейших писаний. Ими я как бы сказал себе: «Если ты хочешь стать изобразителем современной жизни, вот как ты должен поступать». Ведь у меня под ногами не было твердой почвы, вера отцов наших давно перестала быть нашей верой. Мне оставалось либо определить и выяснить свою собственную точку зрения, либо писать о жизни разбросанно, бессвязно и неуверенно. Теперь, после этой теоретической работы, я, кажется, имею некоторое право отдаться своему призванию и приняться за изображение хоть небольшой части этого огромного, величавого зрелища жизни, которое окружает меня и дает пищу моему наблюдению и опыту.

Иначе говоря, я надеюсь после всех приготовлений засесть наконец за писание бытовых романов и отдаться этой работе на много лет.

Я столько распространяюсь о себе и вдаюсь в такие подробности вот почему: ежели русские настолько добры, что читают меня и даже выпускают теперь собрание моих сочинений, так пускай же они знают меня по-настоящему, а не как-нибудь. Но, конечно, никто живее меня самого не чувствует, от каких случайностей и превратностей опыта зависит литературная работа. Что такое, в сущности, делаем мы все, мы, которые думаем и пишем? Мы отнюдь не какая-то особая каста вдохновенных людей, которые могут вещать о своих откровениях темному, непросвещенному миру. Мы просто голоса разнообразных людей, и каждый из нас выражает то, что думает и чувствует.

Многим из нас суждено прожить лишь одно мгновение – и потом исчезнуть навсегда. Кое-что из подмеченного нами, кое-что из предсказанного нами, может быть, и вспомнят потом, но кто это предсказал, кто подметил, забудут, и потеряют из виду, и никогда уж не припомнят опять. Мы рассказываем наши рассказы неведомым и безмолвным слушателям, и если мы им даем наибольшую меру нашего чувства и ума, чего еще можно требовать от нас? Наше дело – трудиться. А будет ли труд наш для немногих или для многих, хорош ли он будет или плох, на много лет или на секунду – не все ли это равно? Это касается только издателя и литературного критика.

1908

## Россия во мгле<sup>2</sup>

### Гибнущий Петроград

В январе 1914 года я провел недели две в Петрограде и Москве; в сентябре 1920 года г-н Каменев, член русской торговой делегации в Лондоне, предложил мне снова посетить Россию. Я ухватился за это предложение и в конце сентября отправился туда с моим сыном, немного говорившим по-русски. Мы пробыли в России 15 дней; большую часть из них – в Петрограде, по которому мы бродили совершенно свободно и самостоятельно и где нам показали почти все, что мы хотели посмотреть. Мы побывали в Москве, и у меня была продолжительная беседа с г-ном Лениным, о которой я расскажу дальше. В Петрограде я жил не в отеле «Интернационал», где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького. Нашим гидом и переводчиком оказалась дама, с которой я познакомился в России в 1914 году, племянница бывшего русского посла в Лондоне. Она получила образование в Ньюхэме, была пять раз арестована при большевиках; выезд из Петрограда был ей запрещен после ее попытки пробраться через границу в Эстонию, к своим детям; поэтому уж она-то не стала бы участвовать в попытке ввести меня в заблуждение. Я говорю об этом потому, что на каждом шагу, и дома, и в России, мне твердили, что нам придется столкнуться с самой тщательной маскировкой реальной действительности и что нас все время будут водить в шорах.

На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке. Иногда можно отвлечь внимание каких-нибудь делегаций шумихой приемов, оркестров и речей. Но почти немислимо приукрасить два больших города ради двух случайных гостей, часто бродивших порознь, внимательно ко всему приглядываясь. Естественно, когда желаешь посмотреть школу или тюрьму, показывают не самое худшее. В любой стране показали бы лучшее, и Советская Россия – не исключение. Это вполне понятно.

Основное наше впечатление от положения в России – это картина колоссального неправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает даже саму Революцию. Насквозь прогнившая Российская империя – часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года, – не вынесла того напряжения, которого требовал ее агрессивный империализм; она пала, и ее больше нет. Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живет почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается. Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150 000 сторонников (в действительности РКП(б) насчитывала в это время более 600 000 членов – *прим. ред.*), – партию коммунистов. Ценой многочисленных расстрелов оно подавило бандитизм, установило некоторый порядок и безопасность в измученных городах и ввело жесткую систему распределения продуктов.

---

<sup>2</sup> Перевод И. Виккер и В. В. Пастоева.

Я сразу же должен сказать, что это – единственное правительство, возможное в России в настоящее время. Оно воплощает в себе единственную идею, оставшуюся в России, единственное, что ее сплачивает. Но все это имеет для нас второстепенное значение. Для западного читателя самое важное – угрожающее и тревожное – состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная.

Нигде в России эта катастрофа не видна с такой беспощадной ясностью, как в Петрограде. Петроград был искусственным творением Петра Великого; его бронзовая статуя все еще возвышается в маленьком сквере близ Адмиралтейства, посреди угасающего города. Дворцы Петрограда безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который отдает все свои силы напряженной борьбе с голодом и интервентами. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора, где за семьсот или восемьсот рублей я купил как сувенир тарелку, и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и залатанного белья. За пять тысяч рублей – примерно 7 шиллингов по теперешнему курсу – можно купить очень красивый букет больших хризантем.

Я не уверен, что слова «все магазины закрыты» дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России. Они не похожи на Бонд-стрит или Пикадилли в воскресные дни, когда магазины с аккуратно спущенными шторами чинно спят, готовые снова распахнуть свои двери в понедельник. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились еще засиженные мухами остатки товара; некоторые заклеены декретами; стекла витрин потускнели, все покрыто двухлетним слоем пыли. Это мертвые магазины. Они никогда не откроются вновь.

Сейчас, когда идет отчаянная борьба за общественный контроль над распределением продуктов и за то, чтобы лишить спекулянтов возможности фантастически взвинчивать цены на остатки продовольствия, все большие рынки Петрограда также закрыты. Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Здесь никто больше не «прогуливается». Для нас современный город, в сущности, – лишь длинные ряды магазинов, ресторанов и тому подобного. Закройте их, и улица потеряет всякий смысл. Люди торопливо пробегают мимо; улицы стали гораздо пустыннее по сравнению с тем, что осталось у меня в памяти с 1914 года. Трамваи все еще ходят до шести часов вечера; они всегда битком набиты. Это единственный вид транспорта для простых людей, оставшихся в городе, унаследованный от капитализма. Во время нашего пребывания в Петрограде был введен бесплатный проезд. До этого билет стоил два или три рубля – сотая часть стоимости одного яйца. Но отмена платы мало что изменила для тех, кто возвращается с работы в часы вечерней давки. При посадке в трамвай – толкучка; если не удастся втиснуться внутрь, висят снаружи. В часы «пик» вагоны обвешаны гроздьями людей, которым, кажется, уже не за что держаться. Многие из них срываются и попадают под вагон. Мы видели толпу, собравшуюся вокруг ребенка, перерезанного трамваем; двое из наших хороших знакомых в Петрограде сломали ноги, упав с трамвая.

Улицы, по которым ходят эти трамваи, находятся в ужасном состоянии. Их не ремонтировали уже три или четыре года; они изрыты ямами, похожими на воронки от снарядов, зачастую в два-три фута глубиной. Кое-где мостовая провалилась; канализация вышла из строя; торцовые мостовые разобраны на дрова. Лишь один раз видели мы попытку ремон-

тировать улицу в Петрограде. Какая-то таинственная организация доставила в переулок воз торцов и две бочки смолы. Почти все наши длительные поездки по городу мы совершали в предоставленных нам властями автомобилях, оставшихся от былых времен. Автомобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов. Уцелевшие машины заправляют керосином. Они испускают облака бледно-голубого дыма, и, когда трогаются с места, кажется, что началась пулеметная перестрелка. Прошлой зимой все деревянные дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих провалах между каменными зданиями.

Люди обносились; все они, и в Москве и в Петрограде, тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что все население бежит из города. Такое впечатление не совсем обманчиво. Большевицкая статистика, с которой я познакомился, совершенно откровенна и честна в этом вопросе. До 1919 года в Петрограде насчитывалось 1 200 000 жителей, сейчас их немногим больше 700 000, и число их продолжает уменьшаться. Многие вернулись в деревню; многие уехали за границу; огромное количество погибло, не вынеся тяжких лишений. Смертность в Петрограде – свыше 81 человека на тысячу; раньше она составляла 22 человека на тысячу, но и это было выше, чем в любом европейском городе. Рождаемость среди недоедающего и глубоко удрученного населения – 15 человек на тысячу; прежде она была почти вдвое больше.

Узлы, которые все таскают с собой, набиты либо продуктовыми пайками, выдаваемыми в советских организациях, либо предметами, предназначенными для продажи или купленными на черном рынке. Русские всегда любили поторговать и поторговаться. Даже в 1914 году в Петрограде всего несколько магазинов торговало по твердым ценам. Цены без запроса были не в чести; беря в Москве извозчика, каждый раз приходилось торговаться с ним из-за 10 копеек.

Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов потребления, вызванной отчасти напряжением военного времени – Россия непрерывно воюет уже шесть лет, – отчасти общим развалом социальной структуры и отчасти блокадой, при полном расстройстве денежного обращения, большевики нашли единственный способ спасти городское население от тисков спекуляции и голодной смерти и, в отчаянной борьбе за остатки продовольствия и предметов первой необходимости, ввели пайковую систему распределения продуктов и своего рода коллективный контроль.

Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежда и жилье. Но в России это пришлось делать на основе не поддающегося контролю крестьянского хозяйства и с населением недисциплинированным по природе и не привыкшим себя ограничивать. Борьба поэтому неизбежно жестока.

С пойманным спекулянтom, с настоящим спекулянтom, ведущим дело в мало-мальски значительном масштабе, разговор короткий – его расстреливают. Самая обычная торговля сурово наказывается. Всякая торговля сейчас называется «спекуляцией» и считается незаконной. Но на мелкую торговлю из-под полы продуктами и всякой всячиной в Петрограде смотрят сквозь пальцы, а в Москве она ведется совсем открыто, потому что это единственный способ побудить крестьян привозить продукты. Множество подпольных сделок совершается между известными друг другу людьми. Всякий, кто может, пополняет таким путем свой паек. Любая железнодорожная станция превратилась в открытый рынок. На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и т. д. Пассажиры выбирают из вагона и возвращаются с узелками. Яйцо или яблоко стоит 300 рублей.

У крестьян сытый вид, и я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живется даже лучше. У них больше земли, чем раньше, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что, пока оно у власти, теперешнее положение вещей сохранится. Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам Красной Гвардии отобрать у них продовольствие по твердым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними. Лондонская печать раздувает подобные случаи и преподносит их как крестьянские восстания против большевиков. Но это отнюдь не так. Просто-напросто крестьяне стараются повольготнее устроиться при существующем режиме.

Но все остальные слои общества, включая и должностных лиц, испытывают сейчас невероятные лишения. Кредитная система и промышленность, выпускавшая предметы потребления, вышли из строя, и пока что все попытки заменить их каким-либо иным способом производства и распределения оказались несостоятельными. Поэтому нигде не видно новых вещей. Единственное, что имеется в сравнительно большом количестве, – это чай, папиросы и спички. Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году, и надо сказать, что советская спичка – весьма недурного качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно. Купить стакан или чашку взамен разбитых удастся только у спекулянтов, после кропотливых поисков. Мы ехали из Петрограда в Москву в спальном вагоне-люкс, но там не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей. Все это исчезло. Бросается в глаза, что большинство мужчин плохо выбрито, и сначала мы склонны были думать, что это одно из проявлений всеобщей апатии, но поняли, в чем дело, когда один из наших друзей в разговоре с моим сыном случайно упомянул, что пользуется одним и тем же лезвием почти целый год.

Так же невозможно достать лекарства и другие аптекарские товары. При простуде и головной боли принять нечего; нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку. Поэтому небольшие недомогания легко переходят в серьезную болезнь. Почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми. В этом неблагоустроенной, полной повседневных трудностей обстановке очень редко попадаете жизнерадостный, здоровый человек.

Мрачное будущее ожидает того, кто тяжело заболевает. Мой сын побывал в Обуховской больнице и рассказал мне, что она находится в самом бедственном состоянии: нехватка медикаментов и предметов ухода ужасающая, половина коек пустует оттого, что большее количество больных обслужить невозможно. Не может быть и речи об усиленном, подкрепляющем питании, если только родные каким-то чудом не достанут его и не принесут больному. Д-р Федоров сказал мне, что операции производятся всего раз в неделю, когда удастся к ним подготовиться. В остальные дни это невысказано, и больные вынуждены ждать.

Вряд ли у кого в Петрограде найдется во что переодеться; старые, дырявые, часто не по ноге сапоги – единственный вид обуви в огромном городе, где не осталось никаких других средств транспорта (я видел на Неве лишь один переполненный пассажирский пароход; обычно река совсем пустынна, если не считать редких буксиров или одиноких лодочников, подбирающих плавающие бревна – прим. авт.), кроме нескольких битком набитых трамваев. Порой наталкиваешься на самые удивительные сочетания в одежде. Директор школы, которую мы посетили без предупреждения, был одет с необычайным щегольством: на нем был смокинг, из-под которого выглядывала синяя саржевая жилетка. Несколько крупных ученых и писателей, с которыми я встречался, не имели воротничков и обматывали шею шарфами. У Горького – только один-единственный костюм, который на нем.

Когда я встретился с группой петроградских литераторов, известный писатель г-н Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и – что касается меня – совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета.

Плохо одетое население этого пришедшего в невероятный упадок города к тому же неимоверно плохо питается, несмотря на непрекращающуюся подпольную торговлю. Советское правительство при всех своих благих намерениях не в состоянии обеспечить выдачу продовольствия в количестве, достаточном для нормального существования. Мы зашли в районную кухню и наблюдали, как происходит раздача пищи по карточкам. На кухне было довольно чисто, работа была хорошо организована, но это не могло компенсировать недостаток самих продуктов. Обед самой низшей категории состоял из миски жидкой похлебки и такого же количества компота из яблок.

Всем выданы хлебные карточки, и люди выстаивают в очередях за хлебом, но во время нашего пребывания петроградские пекарни не работали три дня из-за отсутствия муки. Качество хлеба совершенно различно: бывает хороший, хрустящий черный хлеб, но попадает и сырой, липкий, почти несъедобный.

Я не знаю, смогут ли эти разрозненные подробности дать западному читателю представление о повседневной жизни Петрограда в настоящее время. Говорят, что в Москве больше жителей и острее чувствуется недостаток топлива, но внешне она выглядит гораздо менее мрачно, чем Петроград. Мы видели все это в октябре, когда стояли необычно ясные и теплые дни. Мы видели все это в обрамлении багрово-золотой листвы, озаренной солнцем. Но вот однажды повеяло холодом, и желтые листья закружились вместе с хлопьями снега. Это было первое дыхание наступающей зимы. Наши друзья, поживаясь и поглядывая в окна, в которые были уже вставлены вторые рамы, рассказывали нам о том, что было в прошлом году. Затем снова потеплело.

Мы покидали Россию великолепным солнечным днем. Но у меня щемит сердце, когда я думаю о приближении зимы. Советское правительство прилагает исключительные усилия, чтоб подготовить Северную коммуны (так назывались в 1918-1920 гг. Петроград и Петроградский промышленный район. – *Ред.*) к наступлению холодов. Повсюду, где только можно: вдоль набережных, среди главных проспектов, во дворах – лежат штабеля дров. В прошлом году температура во многих жилых домах была ниже нуля, водопровод замерз, канализация не работала. Читатель может представить себе, к чему это привело. Люди ютились в еле освещенных комнатах и поддерживали себя только чаем и беседой. Со временем какой-нибудь русский писатель расскажет нам, что это значило для русского сердца и ума. Эта зима, возможно, окажется не такой тяжелой. Говорят, что положение с продовольствием также лучше, но я в этом сильно сомневаюсь. Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии; паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены; гайки разболтались, и рельсы шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью в 25 миль в час. Если бы даже железные дороги работали лучше, это мало что изменило бы, так как южные продовольственные центры захвачены Врангелем. Скоро с серого неба, распростертого над 700 000 душ, все еще остающихся в Петрограде, начнет падать холодный дождь, а за ним снег. Ночи становятся все длиннее, а дни все тусклее.

Вы, конечно, скажете, что это зрелище беспросветной нужды и упадка жизненных сил – результат власти большевиков. Я думаю, что это не так. О самом большевистском правительстве я скажу позднее, когда обрисую всю обстановку в целом. Но я хочу уже здесь сказать, что эта несчастная Россия не есть организм, подвергшийся нападению каких-то пагубных внешних сил и разрушенный ими. Это был больной организм, он сам изжил

себя и потому рухнул. Не коммунизм, а капитализм построил эти громадные, невысказанные города. Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную, расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную войну. И не коммунизм терзал эту страдающую и, быть может, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист. Но я вернусь к этому после того, как несколько подробнее опишу все, что мы видели в России во время нашей поездки. Только получив какое-то представление о материальных и духовных проявлениях русской катастрофы, можно понять и правильно оценить большевистское правительство.

## Потоп и спасательные станции

Многое особенно сильно интересовало меня в России, переживавшей грандиозную социальную катастрофу, в том числе – как живет и работает мой старый друг Максим Горький. То, что рассказывали мне члены рабочей делегации, вернувшейся из России, усилило мое желание самому ознакомиться с тем, что там происходит. Меня взволновало также сообщение г-на Бертрана Рассела о болезни Горького, но я с радостью убедился, что в этом отношении все обстоит хорошо. Горький так же здоров и бодр на вид, как в 1906 году, когда мы с ним познакомились. И он неизмеримо вырос как личность. Г-н Рассел писал, что Горький умирает и что культура в России, по-видимому, также на краю гибели. Я думаю, что художник в г-не Расселе не устоял перед искушением закончить свое описание в эффектных, но мрачных тонах. Он застал Горького в постели, во время приступа кашля; все остальное – плод его воображения.

Горький занимает в России совершенно особое, я бы сказал, исключительное положение. Он не в большей мере коммунист, чем я, и я слышал, как у себя дома, в разговоре с такими людьми, как бывший глава петроградской Чрезвычайной Комиссии Бакаев и один из молодых руководителей коммунистической партии – Залуцкий, он совершенно свободно оспаривал их крайние взгляды. Это было вполне убедительное доказательство свободы слова, ибо Горький не столько спорил, сколько обвинял, к тому же в присутствии двух весьма любознательных англичан.

Но он пользуется доверием и уважением большинства коммунистических руководителей и в силу обстоятельств стал при новом режиме своего рода полуофициальным «спасателем». Горький страстно убежден в высокой ценности культуры Запада и в необходимости сохранить связь духовной жизни России с духовной жизнью остального мира в эти страшные годы войны, голода и социальных потрясений. Он пользуется прочной поддержкой Ленина. В его деятельности собраны, как в фокусе, многие значительные явления русской действительности, и это помогает понять, насколько катастрофично положение в России.

В конце 1917 года Россия пережила такой всеобъемлющий крах, какого не знала ни одна социальная система нашего времени. Когда правительство Керенского не заключило мира и британский военно-морской флот не облегчил положения на Балтике, развалившаяся русская армия сорвалась с линии фронта и хлынула обратно в Россию – лавина вооруженных крестьян, возвращающихся домой без надежд, без продовольствия, без всякой дисциплины. Это было время разгрома, время полнейшего социального разложения. Это был распад общества. Во многих местах вспыхнули крестьянские восстания. Поджоги усадеб часто сопровождались жестокой расправой с помещиками. Это был вызванный отчаянием взрыв самых темных сил человеческой природы, и в большинстве случаев коммунисты несут большую ответственность за эти злодеяния, чем, скажем, правительство Австралии. Среди бела дня на улицах Москвы и Петрограда людей грабили и раздевали, и никто не вмешивался. Тела убитых валялись в канавах порой по целым суткам, и пешеходы проходили мимо, не обращая на них внимания. Вооруженные люди, часто выдававшие себя за красногвардейцев, врываются в квартиры, грабили и убивали. В начале 1918 года новому, большевистскому правительству приходилось вести жестокую борьбу не только с контрреволюцией, но и с ворами и бандитами всех мастей. И только к середине 1918 года, после того как были расстреляны тысячи грабителей и мародеров, восстановилось элементарное спокойствие на улицах больших русских городов. Некоторое время Россия была не цивилизованной страной, а бурным водоворотом беззаконий и насилия, где слабое, неопытное правительство вело

борьбу не только с неразумной иностранной интервенцией, но и с полнейшим внутренним разложением. И Россия все еще прилагает огромные усилия, чтобы выйти из этого хаоса.

Искусство, литература, наука, все изящное и утонченное, все, что мы зовем «цивилизацией», было вовлечено в эту стихийную катастрофу. Наиболее устойчивым элементом русской культурной жизни оказался театр. Театры остались в своих помещениях, и никто не грабил и не разрушал их. Артисты привыкли собираться там и работать, и они продолжали это делать; традиции государственных субсидий оставались в силе. Как это ни поразительно, русское драматическое и оперное искусство прошло невредимым сквозь все бури и потрясения и живо и по сей день. Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше сорока представлений, примерно то же самое мы нашли в Москве. Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в «Севильском цирюльнике» и «Хованщине»; музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на «Садко», видели Монахова в «Царевиче Алексее» и в роли Яго в «Отелло» (жена Горького, г-жа Андреева, играла Дездемону). Пока смотришь на сцену, кажется, что в России ничто не изменилось; но вот занавес падает, оборачиваешься к публике, и революция становится ощутимой. Ни блестящих мундиров, ни вечерних платьев в ложах и партере. Повсюду однообразная людская масса, внимательная, добродушная, вежливая, плохо одетая. Как на спектаклях лондонского театрального общества, места в зрительном зале распределяются по жребию. В большинстве случаев билеты бесплатны. На одно представление их раздают, скажем, профсоюзам, на другое – красноармейцам, на третье – школьникам и т. д. Часть билетов продается, но это скорее исключение.

Я слышал Шаляпина в Лондоне, но не был тогда знаком с ним. На этот раз мы с ним познакомились, пообедали у него и видели его прелестную семью. У Шаляпина двое пасынков, почти взрослых, и две маленькие дочки, которые очень мило, правильно, немного книжно говорят по-английски; младшая очаровательно танцует. Шаляпин, несомненно, одно из самых удивительных явлений в России в настоящее время. Это художник, бунтарь; он великолепен. Вне сцены он пленяет такой же живостью и безграничным юмором, как г-н Макс Бирбом. Шаляпин наотрез отказывается петь бесплатно и, говорят, берет за выступление 200 тысяч рублей – около 15 фунтов стерлингов; когда бывает особенно трудно с продуктами, он требует гонорар мукой, яйцами и тому подобным. И он получает то, что требует, так как забастовка Шаляпина пробила бы слишком большую брешь в театральной жизни Петрограда. Поэтому его дом, быть может, последний, в котором сохранился сейчас относительный достаток. Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности.

Но театр занимает совершенно особое положение. Для других областей искусства, для литературы в целом, для науки катастрофа 1917-1918 годов оказалась совершенно губительной. Покупать книги и картины больше некому; ученый получает жалованье в совершенно обесцененных рублях. Новый, незрелый еще общественный строй, ведущий борьбу с грабежами, убийствами, с дикой разрухой, не нуждается в ученых; он забыл о них. Первое время советское правительство так же мало обращало на них внимания, как французская революция, которой «не требовались химики». Поэтому научным работникам, жизненно необходимым каждой цивилизованной стране, приходится терпеть сейчас невероятную нужду и лишения. Именно помощью им, их спасением занят теперь в первую очередь Горький. Главным образом благодаря ему и наиболее дальновидным деятелям большевистского правительства сейчас создан ряд «спасательных» учреждений; лучше всего поставлено дело в Доме ученых в Петрограде, занимающем старинный дворец великой княгини Марии Павловны. Здесь находится специальный центр распределения продовольствия, снабжающий в меру своих возможностей четыре тысячи научных работников и членов их семей, в общей

сложности около десяти тысяч человек. Тут не только выдаются продукты по карточкам, но имеются и парикмахерская, ванны, сапожная и портняжная мастерские и другие виды обслуживания. Есть даже небольшой запас обуви и одежды. Здесь создано нечто вроде медицинского стационара для больных и ослабевших.

Одним из самых необычных моих впечатлений в России была встреча в Доме ученых с некоторыми крупнейшими представителями русской науки, изнуренными заботой и лишениями. Я видел там востоковеда Ольденбурга, геолога Карпинского, лауреата Нобелевской премии Павлова, Радлова (ошибка Уэллса: академик В. В. Радлов, известный языковед, археолог и этнограф, умер за два года до этого, в 1918 году – *прим. ред.*), Белопольского и других всемирно известных ученых. Они задали мне великое множество вопросов о последних достижениях науки за пределами России, и мне стало стыдно за свое ужасающее невежество в этих делах. Если бы я предвидел это, я взял бы с собой материалы по всем этим вопросам. Наша блокада отрезала русских ученых от иностранной научной литературы. У них нет новой аппаратуры, не хватает писчей бумаги, лаборатории не отапливаются. Удивительно, что они вообще что-то делают. И все же они успешно работают; Павлов проводит поразительные по своему размаху и виртуозности исследования высшей нервной деятельности животных; Манухин, говорят, разработал эффективный метод лечения туберкулеза, даже в последней стадии, и т. д. Я привез с собой для опубликования в печати краткое изложение работ Манухина, оно сейчас переводится на английский язык. Дух науки – поистине изумительный дух. Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых, если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами; однако они почти не заговаривали со мной о возможности посылки им продовольствия. В Доме литературы и искусств мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишения, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу: знания им дороже хлеба. Надеюсь, что смогу оказаться полезным в этом деле. Я посоветовал им создать комиссию, которая составила бы список необходимых книг и журналов; этот список я вручил секретарю Королевского общества в Лондоне, и он уже предпринял кое-какие шаги. Понадобятся средства, приблизительно три или четыре тысячи фунтов стерлингов (адрес секретаря Королевского общества – Берлингтон Хаус, Вест); согласие большевистского правительства и нашего собственного на это духовное снабжение России уже получено, и я надеюсь, что в ближайшее время первая партия книг будет отправлена этим людям, которые так долго были отрезаны от интеллектуальной жизни мира.

Если б у меня и не было других оснований испытывать удовлетворение от поездки в Россию, я нашел бы его в тех надеждах и утешении, которые одна лишь встреча с нами принесла выдающимся деятелям науки и искусства. Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже, в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений, сам по себе, прибыл из Лондона и который мог не только приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если б в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель.

Всем английским любителям музыки знакомо творчество Глазунова; он дирижировал оркестрами в Лондоне и получил звание почетного доктора Оксфордского и Кембриджского университетов. Меня глубоко взволновала встреча с ним в Петрограде. Я помню его крупным, цветущим человеком, а сейчас он бледен, сильно похудел, одежда висит на нем, как с чужого плеча. Мы говорили с ним о его друзьях – сэре Хьюберте Перри и сэре Чарльзе Вил-

льерсе Стэнфорде. Он сказал мне, что все еще пишет, но запас нотной бумаги почти иссяк. «И больше ее не будет». Я ответил, что бумага появится, и даже скоро, но он усомнился в этом. Он вспоминал Лондон и Оксфорд; я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды холодной свинцово-серой Невы и неясные очертания Петропавловской крепости. «В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей...» Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной...

Глядя на всех этих выдающихся людей, живущих как беженцы среди жалких обломков рухнувшего империалистического строя, я понял, как безмерно зависят люди большого таланта от прочности цивилизованного общества. Простой человек может перейти от одного занятия к другому; он может быть и матросом, и заводским рабочим, и землекопом, и т. д. Он должен работать вообще, но никакой внутренний демон не заставляет его заниматься только чем-то одним и ничем больше, не заставляет его быть именно таким или погибнуть. Шаляпин должен быть Шаляпиным или ничем, Павлов – Павловым, Глазунов – Глазуновым. И пока они могут продолжать заниматься своим единственным делом, эти люди живут полнокровной жизнью. Шаляпин все еще великолепно поет и играет, не считаясь ни с какими коммунистическими принципами; Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования – в старом пальто, в кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время. Глазунов будет писать, пока не иссякнет нотная бумага. Но на многих других все это подействовало гораздо сильнее. Смертность среди русской творческой интеллигенции невероятно высока. В большой степени это, несомненно, вызвано общими условиями жизни, но во многих случаях, мне кажется, решающую роль сыграло трагическое сознание бесполезности большого дарования. Они не смогли жить в России 1919 года, как не смогли бы жить в краале среди кафров.

Наука, искусство, литература – это оранжерейные растения, требующие тепла, внимания, ухода. Как это ни парадоксально, наука, изменяющая весь мир, создается гениальными людьми, которые больше, чем кто бы то ни было другой, нуждаются в защите и помощи. Под развалинами Российской империи погибли и теплицы, где все это могло произрастать. Грубая марксистская философия, делящая все человечество на буржуазию и пролетариат, представляет себе всю жизнь общества как примитивную «борьбу классов» и не имеет понятия об условиях, необходимых для сохранения интеллектуальной жизни общества. Но надо отдать должное большевистскому правительству: оно осознало угрозу полной гибели русской культуры и, несмотря на блокаду и непрестанную борьбу с субсидируемыми нами и французами мятежами и интервенцией, которыми мы до сих пор терзаем Россию, разрешило эти «спасательные» организации и оказывает им содействие. Наряду с Домом ученых создан Дом литературы и искусств. За исключением некоторых поэтов, никто сейчас в России не пишет книг, никто не создает картин. Но большинство писателей и художников нашли работу по выпуску грандиозной по своему размаху, своеобразной русской энциклопедии всемирной литературы. В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, невысказанное сейчас в богатой Англии и богатой Америке. В Англии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически прекратился сейчас «из-за дороговизны бумаги». Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной, и это несколько не трогает тех, от кого это зависит. Большевистское правительство, во всяком случае, стоит на большей высоте. В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое

знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу. Я наблюдал эту работу и видел некоторые из этих книг. Я пишу «смогут» без твердой уверенности. Потому что, как и все остальное в этой разрушенной стране, эта созидательная работа носит отрывочный, наспех организованный характер. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, я не представляю. Книжные магазины закрыты, а торговля книгами запрещена, как и всякая торговля вообще. Вероятно, книги будут распределяться по школам и другим учреждениям.

Совершенно очевидно, что большевики еще ясно не представляют себе, как будет распространяться эта литература. Они также не представляют себе многих подобных вещей. Оказывается, что у марксистского коммунизма нет никаких планов и идей относительно интеллектуальной жизни общества. Марксистский коммунизм всегда являлся теорией подготовки революции, теорией, не только лишенной созидательных, творческих идей, но прямо враждебной им. Каждый коммунистический агитатор презирает «утопизм» и относится с пренебрежением к разумному планированию. Даже английские бизнесмены старшего типа не верили так слепо, что все само по себе «образуется», как эти марксисты. Наряду с множеством других созидательных проблем русское коммунистическое правительство вплотную столкнулось сейчас с проблемой сохранения научной жизни, мысли и обмена мнениями, содействия художественному творчеству. Пророк Маркс и его Священное писание не дают никаких наставлений по всем этим вопросам. Поэтому, не имея готовой программы, большевики вынуждены неуклюже импровизировать и ограничиваться пока отчаянными попытками спасти обломки прежней интеллектуальной жизни. Но ее можно уподобить очень больному и несчастному существу, готовому в любую минуту погибнуть у них на руках.

Максим Горький пытается спасти не только русскую науку и литературу и их деятелей: существует и третья, еще более любопытная спасательная организация, с которой он связан. Это экспертная комиссия, занимающая здание бывшего британского посольства. Когда рухнет общественный порядок, основанный на частной собственности, и когда эта собственность упразднится внезапно и безоговорочно, всем этим не упраздняются и не уничтожаются вещи, которые составляли раньше эту частную собственность. Здания со всем находящимся в них имуществом по-прежнему стоят на своих местах, в них по-прежнему живут люди, их бывшие владельцы, за исключением тех, кто бежал. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают брошенный дворец, они сталкиваются с этой проблемой имущества. Всякий, кто знает человеческую натуру, поймет, что кое-какие привлекательные вещи были неумышленно присвоены некоторыми должностными лицами и, пожалуй, не столь неумышленно – их женами. Но по общему духу своему большевизм, безусловно, честен и решительно выступает против грабежей и всяких подобных проявлений частной предприимчивости. Когда дни катастрофы остались позади, грабежи в Петрограде и Москве стали сравнительно малочисленны. Бандитизм был поставлен к стенке в Москве весной 1918 года. Мы заметили, что в особняках, где останавливаются гости правительства, и тому подобных местах все пронумеровано и внесено в инвентарные списки. Кое-где нам попадались разрозненные вещи – какой-нибудь хрустальный стакан или фамильное серебро с гербами, неуместно выглядевшие в чужеродной обстановке, но большей частью это были вещи, обмененные их бывшими владельцами на продукты и другие предметы первой необходимости. Матрос, которому поручено было заботиться о наших удобствах во время поездки в Москву и обратно, был снабжен изящным серебряным чайничком, который, очевидно, украшал раньше чью-то прелестную гостиную. Но, по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом.

Все, что признано произведением искусства, экспертная комиссия для большей сохранности отбирает и заносит в каталог. Дворец, в котором помещалось британское

посольство, похож сейчас на битком набитую антикварную лавку на Бромптон-роуд. Мы обошли одну за другой все комнаты, загромаженные великолепной рухлядью, оставшейся от старой России. Там есть большие залы, заставленные скульптурой; в жизни я не видел столько беломраморных венер и сильфид в одном месте, даже в музее Неаполя. Картины всех жанров сложены штабелями, коридоры до самого потолка забиты инкрустированными шкафчиками. Одна комната заполнена ящиками со старыми кружевами, в другой – горы роскошной мебели. Вся эта масса вещей пронумерована и внесена в каталог. И на этом дело кончается. Я так и не узнал, имеет ли хоть кто-нибудь ясное представление о том, что делать с этим изящным, восхитительным хламом. Эти вещи никак не подходят новому миру, если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир. Они никогда не предполагали, что им придется иметь дело с такими вещами. Точно так же они не задумывались всерьез над тем, что делать с магазинами и рынками, когда они упразднили торговлю. Не задумывались они и над проблемой превращения города дворцов и особняков в коммунистический улей.

Марксистская теория довела их воображение до «диктатуры классово сознательного пролетариата» и затем намекала, весьма туманно, как мы теперь видим, что там их ожидают новые небеса и новая земля. Если б это сбылось, это действительно означало бы переворот в судьбах человечества. Но мы увидели в России все те же небеса и все ту же землю, покрытую развалинами, брошенными реликвиями и обломками развороченной старой государственной машины, с тем же упрямым мужиком, крепко сидящим на своем наделе, и – коммунизм, отважно и честно правящий в городах и все же во многих отношениях похожий на фокусника, который забыл захватить голубя и кролика и не может ничего вытащить из шляпы.

Крах – это самое главное в сегодняшней России. Революция, власть коммунистов, которым я посвящаю следующую главу, – все это имеет второстепенное значение. Все это свершилось во время краха и вследствие его. Исключительно важно, чтобы это поняли на Западе.

Если бы мировая война продолжалась еще год или больше, Германия, а затем и державы Антанты, вероятно, пережили бы свой национальный вариант русской катастрофы. То, что мы застали в России, – это то, к чему шла Англия в 1918 году, но в обостренном и завершенном виде. Здесь тоже нехватка продуктов, как это было в Англии, но достигшая чудовищных масштабов; здесь тоже карточная система, но она сравнительно слаба и неэффективна; в России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают, и вместо английского D.O.R.A. (Закона о защите государства) здесь действует Чрезвычайная Комиссия. То, что являлось неудобством в Англии, возросло до размеров бедствия в России. Вот и вся разница. Насколько я знаю, Западной Европе даже сейчас еще угрожает подобная катастрофа. Я отнюдь не уверен, что кризис уже миновал. Война, расточительство и паразитическая спекуляция, быть может, все еще поглощают больше того, что западный мир производит. В таком случае вопрос о том, когда произойдет катастрофа у нас – расстройство денежного обращения, нехватка всех предметов потребления, социальный и политический развал и все прочее, – лишь вопрос времени. Магазины Риджент-стрит постигнет судьба магазинов Невского проспекта, и господам Голсуорси и Беннету придется спасать сокровища искусства из роскошных особняков Мэйфэра. Утверждать, что ужасающая нищета в России – в какой-либо значительной степени результат деятельности коммунистов, что злые коммунисты довели страну до ее нынешнего бедственного состояния и что свержение коммунистического строя молниеносно осчастливит всю Россию, – это значит извращать положение, сложившееся в мире, и толкать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперешнюю беду вследствие мировой войны и моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущей верхушки (как может попасть в беду и наше британское государство, а со временем даже и американское государство). У правителей России не хватило ни ума, ни совести прекратить войну, перестать разорять страну и захватывать самые лакомые куски, вызывая у всех остальных опасное недовольство, пока не пробил их час. Они правили, и

расточали, и грызлись между собой, и были так слепы, что до самой последней минуты не видели надвигающейся катастрофы. И затем, как я расскажу в следующих главах, пришли коммунисты...

## Квинтэссенция большевизма

В двух предыдущих главах я старался передать читателю полученные мною в Петрограде и Москве впечатления от жизни в России, показать картину развала, развала политической, социальной и экономической системы, такой же, как наша, но только более слабой и гнилой, рухнувшей под бременем шестилетней войны и безответственного управления. Основная катастрофа произошла в 1917 году, когда чудовищно бездарный царизм стал окончательно невыносим. Он разорил страну, потерял контроль над армией и доверие всего населения. Его полицейский строй выродился в режим насилия и разбоя. Падение царизма было неизбежно.

Но в России не было другого правительства, способного прийти ему на смену. На протяжении многих поколений усилия царизма были направлены главным образом на то, чтобы уничтожить всякую возможность замены его другим правительством. Он держался у власти именно благодаря тому, что, как бы плох он ни был, заменить его было нечем. Первая русская революция превратила Россию в дискуссионный клуб и арену политической драки. Либеральные круги, не привыкшие действовать и брать на себя ответственность, пустились в шумные споры о том, должна ли Россия быть конституционной монархией, либеральной республикой, социалистической республикой и так далее. Среди всей этой неразберихи позерствовал «благородный либерал» Керенский; на поверхность всплывали разные авантюристы, «сильные личности», лжесильные личности, российские монахи и российские бонапарты. Исчезли последние остатки общественного порядка. К концу 1917 года на улицах Москвы и Петрограда убийства и ограбления стали таким же обычным явлением, как автомобильные происшествия на улицах Лондона, с той разницей, что на них обращали еще меньше внимания. На пароходе, шедшем из Ревеля, я встретил американца, бывшего представителя «Америкэн харвестер компани» в России, который находился в Москве во время этой полнейшей анархии. Он рассказывал об ограблениях среди бела дня, о часах валявшихся в канавах трупах, мимо которых занятые своими делами люди проходили так же, как проходят у нас мимо валяющегося на тротуаре дохлого котенка.

По этой лихорадящей, объятай смятением стране разъезжали представители Англии и Франции, неспособные понять сущность безмерной трагедии, происходившей на их глазах, думавшие только о войне и настойчиво требовавшие от русских, чтобы они продолжали сражаться и начали новое наступление против Германии. Но, когда немцы стали прорываться к Петрограду – через Прибалтику и морем, – британское адмиралтейство то ли из чистой трусости, то ли из-за интриг монархистов не пришло на помощь России. Это совершенно ясно подтвердил ныне покойный лорд Фишер. И вот эта несчастная страна, смертельно больная, в бреду, приближалась к гибели.

И во всей России и среди русских, разбросанных по всему свету, была лишь одна организация, объединенная общей верой, общей волей, общей программой; это была партия коммунистов. В то время как вся остальная Россия была либо пассивна, как крестьянство, либо занималась бесплодными спорами, либо предавалась насилию или дрожала от страха, коммунисты, воодушевленные своими идеями, были готовы к действию. Число коммунистов было очень мало; они и теперь составляют меньше одного процента населения России. Партия насчитывает не более 600 000 человек; из них, вероятно, не больше 150 000 активных членов. Тем не менее она сумела захватить и удержать власть в развалившейся Империи, потому что в те страшные дни она была единственной организацией, которая давала людям единую установку, единый план действий, чувство взаимного доверия. Это было и есть единственно возможное в России идейно сплоченное правительство. Сомнительные авантюристы, терзающие Россию при поддержке западных держав, – Деникин, Колчак, Вран-

гель и прочие – не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия основы для сплочения народа. По существу, это просто бандиты. Коммунисты же, что бы о них ни говорили, – это люди идеи, и можно не сомневаться, что они будут за свои идеи бороться. Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников. Они сразу же обеспечили себе пассивную поддержку крестьянских масс, позволив им отобрать землю у помещиков и заключив мир с Германией. Ценой многочисленных расстрелов они восстановили порядок в больших городах. Одно время расстреливали всякого, кто носил оружие, не имея на то разрешения. Это была примитивная, кровавая, но эффективная мера. Для того чтобы удержать власть, коммунистическое правительство создало Чрезвычайную Комиссию, наделив ее почти неограниченными полномочиями, и красным террором подавило всякое сопротивление. Красный террор повинен во многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослепленные классово-ненавистью и страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики по крайней мере были честны. За отдельными исключениями, расстрелы ЧК вызывались определенными причинами и преследовали определенные цели, и это кровопролитие не имело ничего общего с бессмысленной резней деникинского режима, не признававшего даже, как мне говорили, советского Красного Креста. И, по-моему, сейчас большевистское правительство в Москве не менее устойчиво, чем любое правительство в Европе, и улицы русских городов так же безопасны, как улицы европейских городов.

Советское правительство не только упрочило свое положение и восстановило порядок, но и создало заново русскую армию в качестве боеспособной силы; в этом немалая заслуга бывшего пацифиста Троцкого. Восстановление армии, конечно, замечательное достижение. Я не знакомился вплотную с русской армией, в России меня интересовало другое, но предприимчивым американский финансист г-н Вандерлип, который вел в Москве какие-то тайные переговоры с советским правительством, присутствовал на смотре многотысячных воинских частей и был восхищен их боевым духом и снаряжением. Мы с сыном видели несколько войсковых частей, отправлявшихся на фронт, а также отряды новобранцев, и у нас создалось впечатление, что их боевой дух нисколько не ниже, чем у английских призывников в Лондоне в 1917-1918 годах.

Кто же все-таки эти большевики, так прочно утвердившиеся в России? По версии наиболее безумной части английской прессы, это участники некоего загадочного расистского заговора, агенты тайного общества, в котором перемешались самым диким образом евреи, иезуиты, франкмасоны и немцы. На самом же деле нет ничего менее загадочного, чем идеи, методы и цели большевиков, и их организация меньше всего походит на тайное общество. Но у нас, в Англии, существует особый образ мышления, настолько невосприимчивый к общим идеям, что даже самые простые человеческие реакции мы обязательно объясняем деятельностью каких-то заговорщиков. Если, например, поденщик в Эссексе возмущается тем, что цены на детскую обувь растут гораздо быстрее, чем его заработок, и заявляет, что его самого и его товарищей надувают и обчитывают, издатели «Таймса» и «Морнинг пост» усматривают в этом результаты коварной пропаганды некоего тайного общества в Кенигсберге или Пекине. Они не могут себе представить, где еще он мог бы набраться таких идей. Маниакальная боязнь заговоров настолько распространена, что, пожалуй, мне следует принести извинения в том, что я не подвержен ей. Мне кажется, что большевики именно те, за кого они себя выдают, и я вынужден был относиться к ним как к прямым и честным людям. Я не согласен ни с их взглядами, ни с их методами, но это другой вопрос.

Большевики – социалисты-марксисты. Маркс умер в Лондоне около 40 лет назад; пропаганда его учения продолжается уже свыше полувека. Оно распространилось по всему миру и почти в каждой стране имеет пусть немногочисленных, но убежденных последователей. Это – естественное следствие мирового экономического положения. Везде и всюду

марксизм выражает одни и те же ограниченные идеи в одних и тех же отчетливых формулировках. Он стал культом, символом интернационального братства. Для того чтобы познакомиться с большевистскими идеями, нет надобности изучать русский язык. Вы найдете их полностью в лондонском «Плебсе» или нью-йоркском «Либерейторе» в тех же самых выражениях, как в русской «Правде». Они ничего не скрывают, они открыто говорят все. И то, о чем они говорят и пишут, марксисты пытаются провести в жизнь.

Я буду говорить о Марксе без лицемерного почтения. Я всегда считал его скучнейшей личностью. Его обширный незаконченный труд «Капитал», это нагромождение утомительных фолиантов, в которых он, трактуя о таких нереальных понятиях, как «буржуазия» и «пролетариат», постоянно уходит от основной темы и пускается в нудные побочные рассуждения, кажется мне апофеозом претенциозного педантизма. Но до моей последней поездки в Россию я не испытывал активной враждебности к Марксу. Я просто избегал читать его труды и, встречая марксистов, быстро отделялся от них, спрашивая: «Из кого же состоит пролетариат?». Никто не мог мне ответить: этого не знает ни один марксист. В гостях у Горького я внимательно прислушивался к тому, как Бакаев обсуждал с Шаляпиным каверзный вопрос – существует ли вообще в России пролетариат, отличный от крестьянства. Бакаев – глава петроградской Чрезвычайной Комиссии диктатуры пролетариата, поэтому я не без интереса следил за некоторыми тонкостями этого спора. «Пролетарий», по марксистской терминологии, – это то же, что «производитель» на языке некоторых специалистов по политической экономии, т. е. нечто совершенно отличное от «потребителя». Таким образом, «пролетарий» – это понятие, прямо противопоставляемое чему-то, именуемому «капитал». На обложке «Плебса» я видел бросающийся в глаза лозунг: «Между рабочим классом и классом работодателей нет ничего общего». Но возьмите следующий случай. Какой-нибудь заводской мастер садится в поезд, который ведет машинист, и едет посмотреть, как подвигается строительство дома, который возводит для него строительная контора. К какой из этих строго разграниченных категорий принадлежит этот мастер – к нанимателям или нанимаемым? Все это – сплошная чепуха.

Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода – широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой; ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на «Капитал»; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против «Капитала» бритвой и ножницами и напишу «Обритие бороды Карла Маркса».

Но Маркс для марксистов – лишь знамя и символ веры, и мы сейчас имеем дело не с Марксом, а с марксистами. Мало кто из них прочитал весь «Капитал». Марксисты – такие же люди, как и все, и должен признаться, что по своей натуре и жизненному опыту я расположен питать к ним самую теплую симпатию. Они считают Маркса своим пророком, потому что знают, что Маркс писал о классовой войне, непримиримой войне эксплуатируемых против эксплуататоров, что он предсказал торжество эксплуатируемых, всемирную диктатуру вождей освобожденных рабочих (диктатуру пролетариата) и венчающий ее коммунистический золотой век. Во всем мире это учение и пророчество с исключительной силой захватывает молодых людей, в особенности энергичных и впечатлительных, которые не смогли получить достаточного образования, не имеют средств и обречены нашей экономической системой на безнадежное наемное рабство. Они испытывают на себе социальную неспра-

ведливость, тупое бездушие и безмерную грубость нашего строя, они сознают, что их унижают и приносят в жертву, и поэтому стремятся разрушить этот строй и освободиться от его тисков. Не нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их: пороки общественного строя, который лишает их образования и превращает в рабов, сами порождают коммунистическое движение всюду, где растут заводы и фабрики. Марксисты появились бы, даже если бы Маркса не было вовсе. В 14 лет, задолго до того, как я услышал о Марксе, я был законченным марксистом. Мне пришлось внезапно бросить учиться и начать жизнь, полную утомительной и нудной работы в ненавистном магазине. За эти долгие часы я так уставал, что не мог и мечтать о самообразовании. Я поджег бы этот магазин, если б не знал, что он хорошо застрахован. Это мрачное время ожило у меня в памяти в разговоре с Зориным, одним из руководителей Северной коммуны. Это очень симпатичный, остроумный молодой человек, вернувшийся из Америки, где он был чернорабочим. Зорин – хороший оратор и пользуется большой популярностью в Петроградском Совете. Мы вспоминали прошлое, и он рассказал мне, что до сих пор не может забыть о грубости и жестокости, с которыми он столкнулся в Америке в большом мануфактурном магазине, куда пришел наниматься упаковщиком. Мы говорили с ним о том, как наш общественный строй изматывает, калечит, ожесточает честных и полных энергии людей. Это общее негодование сблизило нас, как братьев.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.